

Ю. И. ЮДИН

«СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» ДОСТОЕВСКОГО В СВЕТЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ

Что анекдотического в «Скверном анекдоте» Достоевского? Такой вопрос не прозвучит странно, если учесть, что к моменту выхода этого произведения в свет в 1862 г. понятие жанра, на который указывает его название, стало по крайней мере двойственным. В XVIII в. под анекдотом могли понимать короткий занимательный рассказ, нередко связанный с каким-нибудь знаменитым историческим или псевдоисторическим лицом. XIX век наследует жанровые черты, свойственные анекдоту предшествующего столетия. По ряду утверждается и иное представление. Оно возникает не без влияния народных юмористических рассказов сказочного происхождения. Множество таких рассказов, которые представляют собою не что иное, как народный анекдот, было помещено А. П. Афанасьевым в его знаменитом сказочном сборнике, вышедшем отдельными выпусками на протяжении 1855—1866 гг. Подобные рассказы были известны читателям отчасти и по некоторым другим, предшествующим и сопутствующим афанасьевскому фольклорным изданиям (Н. А. Худякова, А. А. Эрлейнвейна, Е. А. Чудицкого).

Что же нового привносит собственно народный фольклорный анекдот в представление о жанре в целом? Он несомненно произошел из сказки, точнее, из одного ее вида — сказки бытовой. У бытовой сказки и анекдота общие герои: глупец или хитроумный шут, мужик, высмеивающий своего барина, генерала, судью или чиновника, находчивый солдат, глупые супруги, сказочный пол, пад которым смеются прихожане или работники, и т. п. В отличие от сказки, однако, народный анекдот короче, он содержит лишь один эпизод. Если сказка к тому же рисует события невероятные, вымышленные и смешные в своей преувеличенности, то анекдот пытается их фактически выдать за нечто странное, редкостное и удивительное, по тем не менее возможное в качестве исключительного и замысловатого происшествия. Отсюда то, чего мы не встретим в сказке: анекдот нередко указывает место происшествия (деревня, область и т. п.), а также лица, которые участвовали в том или ином событии. «Ишов москаль чи в домовий одшук, чи що, а його догоня конем Грицько з нашого села — чоловік усім знакомий...»¹ «В деревне Усть-

Ижмы встречаются два мужика и начинают разговаривать».² Перед нами несомненно анекдотическое, но не сказочное начало. Сказка не предполагает спора о том, где произошло то, о чем рассказано в ней. Анекдот, напротив, допускает спор по поводу того, когда, где и с кем случилось то или иное достойное памяти происшествие.

Однако в наиболее существенном моменте бытовая сказка и анекдот сохраняют сходство. Оно касается природы фольклорного смеха, звучащего в рассказах этих жанров. Во всех случаях он так или иначе бывает связан или с родовыми доисторическими представлениями, сопряженными с повседневной действительностью, или с особой психологией героев, воспроизводящей психологические свойства и логические пафосы, характерные для доисторических этапов развития мышления. Столкновение представлений далекого прошлого с текущей действительностью порождает комический эффект. В результате привычные отношения, нормы и уклад жизни сословно-классового общества подвергаются смеховому развенчанию и профанации. Все сказанное можно было бы подтвердить на широко развернутом материале русской бытовой сказки и народного анекдота. Но в пределах небольшой статьи возможно лишь кратко проиллюстрировать высказанные наблюдения.

В бытовой сказке, например, рассказывается о том, как по смерти матери Иван-дурак приводит в лес на ее могилу корову, доставшуюся ему в наследство. Он спрашивает мать, нужна ли ей корова. «Нужно. — говорит мать, — привязывай, за деньгами завтра придешь». Через три дня герой выгребает из-под вывороченного пня, на который указывает ему мать, целый короб денег.³ Как показывает в своем исследовании В. Я. Пропп, обращаясь, в частности, к данному варианту бытовой сказки типа 1685А* (Дурак ставит кашкан около дома) и 1643 (Дурак и береза),⁴ упомянутый мотив в древнейшей и исконной его форме восходит к обряду жертвоприношений на могиле покойных родителей, оларивающих в сказке того, кто этот обряд совершает.⁵ Другой пример. К древнейшим историческим представлениям, связанным с тотемическим культом покойных предков, относится, как известно, вера в возможность возвращения с того света. Подобная вера отражена в народных быличках. Бытовал же сказка комически переосмысливает эти доисторические представления, выродившиеся позднее в бытовое суеверие. Отсюда — сюжеты о проходатце, который, назвавшись выходцем с того света, просит глупую старуху передать с ним денег и одежду для ее покойного сына (СУ. 1540). В сказках о шуте антагонисты героя, думая, что

² Овчкова Н. Е. Северные сказки // Зап. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этнографии. СПб., 1908. Т. 33. № 26.

³ Смирнов А. М. Сборник великорусских сказок из архива Русского географического общества // Зап. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этнографии. СПб., 1917. Т. 44. Вып. 2. № 306.

⁴ Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / Сост. Л. Г. Баран, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., 1979. Далее: СУ.

⁵ Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 146—150.

¹ Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1985. Т. 3. С. 194—195. № 478.

они утопили шута, верят, будто он вернулся из подводного мира, прихватив с собою коней (СУ, 1535).

« — Что любуетесь? Что на лошадях еду? Вы же, когда меня топили, так сказали, что лови бурых коней. Если б вы сказали, лови сивых, так и сивые там хорошие лошади есть. Не то, что пару поймать можно — поймать можно и четверку, только надо посидеть подольше там». ⁶ После таких слов шута его врагам остается просить утопить их, что тот с радостью исполняет.

От подобных сказок — прямой путь к народному анекдоту. «Смотри, коль утонешь, так и домой не ходи!» — говорит мать сыну, собравшемуся идти купаться. ⁷ Царь говорит голове, что в благодатную весеннюю пору достаточно лишь дождя, чтобы из земли все так и полезло. «Уже як там у мене три жінки, да не дай же то боже, як вони вылизуть!» — пугается тот. ⁸

Что касается древних форм мышления, усвоенных сказкой и народным анекдотом, упомянем в качестве примера лишь одну из этих форм. Комизм народных рассказов иногда проистекает из перазличения части и целого, рода и вида, субъекта и объекта. Нерасчлененность, невыработанность подобных категорий — один из показателей архаического склада мыслительной деятельности, пережитков доисторического прошлого в области психологии и логики. Известно, например, что «первобытная мысль соотносит и группирует в едином понятии разные предметы по их отдельным, случайно выхваченным качествам». ⁹ В древнейших по своему происхождению сказках о животных мы отмечаем комически обыгранное своеобразное расчленение материального тела субъекта, отнесение к объекту того, что составляет часть самого субъекта. (Лисица узнает, что хвост мешал ей бежать от врагов, и высовывает его из норы со словами: «Ешьте, собаки, лисий хвост!» ¹⁰). В более широком плане это может составлять частный случай перенесения вопре субъективных психических и логических способностей и законов. ¹¹ Сказка и народный анекдот на сказочной основе превращают в поэтическое средство для достижения комического эффекта древнейшую логико-психологическую черту. Так, дураки не могут сосчитать себя, так как считающий всякий раз забывает причислить к общему счету самого себя (СУ, 1287). Знакомые и жена вспоминают, что у покойного была борода, но не знают, была ли голова (СУ, 1225). За лень и лживость мужик намазывает дегтем и обсыпает перьями свою жену, заснувшую в поле. Проснувшись, та не узнает себя, идет к своему дому и допытывается, дома ли жена ее мужа, чтобы окончательно убедиться, что она

не та, кем считала себя до сих пор (СУ, 1383). С заснувшего мужика снимают сапоги, проснувшись, он не узнает свои ноги, так как знает, что его были в сапогах (СУ, 1288*). Любопытно, что подобный же путь к умозаключению бывает характерен для детского мышления (на вопрос, покусали ли их комары, дети отвечают, например, что их самих комары не тронули, а покусали только ручки и ножки, и т. п.).

В целом можно сказать, что сюжет бытовой сказки и анекдота имеет двойное дно. Одно составляют видимые события из мира житейской повседневности, воспроизведенные рассказчиком, второе — тот доисторически традиционный фон, на который они падаются, проецируются. Поведение героя, его поступки мотивируются не только видимыми причинами, но и вторжением в сюжет, присутствием на втором плане причин, связанных с доисторическими «воспоминаниями». Сюжет развивается параллельно в двух планах. В заключении параллельные неожиданно сходятся и замыкаются, что и вызывает взрывной эффект комического конца. Герой бытовой сказки и анекдота или использует представления и логико-психологические навыки прошлого как свое хитрое знание и умение (шут), или находится в их власти, будучи не в силах выйти за их пределы (дурак). В любом случае смех фольклорных рассказов направлен не только на героя, но и на его врагов и на всю совокупность бытовых и социальных отношений классово-сословного антагонистического общества (сказки о хозяине и работнике, о судах и судьях и т. п.).

Таковы суммарно те черты жанрового обновления, которые исподволь преобразили также и литературный анекдот, что стало сказываться уже к середине XIX в. и вполне отчетливо обнаружилось у Достоевского. Название «анекдот» подчеркивает впечатление, что все рассказанное носит характер происшествия, которое вполне могло бы случиться на самом деле. С другой стороны, рассказ перерастает рамки житейского случая и выходит к широким обобщениям острых и характерных явлений пореформенной русской жизни, сделанным буквально по горячим следам. Этому способствует заключительный в нем художественный подтекст, выводящий события за ограниченные пределы имевшего место факта и отражающий их в зеркале неожиданной исторической аналогии.

В народном анекдоте события нередко мотивируются и вводятся каким-то спором, в котором одна из сторон, полагаясь на логику и здравый смысл, считает обеспеченной свою победу. Традиционная мотивировка фольклорного анекдота воспроизводится и в рассказе Достоевского.

Сюжет «Скверного анекдота» представляет собою разрешение спора между тремя генералами по поводу гуманности. Толчком к последующим событиям служит замечание генерала Никифорова: «Не выдержим» (5, 9). Это замечание повергает в недоумение героя рассказа. Он пытается толковать его в прямом смысле, но никаких разъяснений на этот счет не получает:

« — То есть как это не выдержим? — спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича.

⁶ Сказки Ф. И. Господарова / Запись текста, вступ. статья и примеч. Н. В. Новикова. Петрозаводск, 1941. № 29.

⁷ Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Т. 3. С. 196. № 484.

⁸ Там же. С. 187. № 456.

⁹ Кацнельсон С. Д. Язык поэзии и первобытно-образная речь // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. М., 1947. Т. 6. Вып. 4. Июль—август. С. 30.

¹⁰ Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. М., 1984. Т. 1. С. 34—35. № 23.

¹¹ См., например: Анисимов А. Ф. Исторические особенности первобытного мышления. Л., 1971. С. 81—87.

— Так, не выдержим. — Степан Никифорович, очевидно, не хотел распространяться далее.

— Это вы уж не насчет ли нового вина и новых мехов? — не без иронии возразил Иван Ильич. — Ну, нет-с; за себя-то уж я отвечаю (там же).

Смысл замечания остается загадочным и, как оказалось, двойным, что открывается герою только к концу рассказа. Какой-то особый оттенок ускользает от него: «Не выдержим! Что он этим хотел сказать? Даже задумался, когда говорил» (5, 11). В двойном значении употреблено в повести и слово «анекдот». С одной стороны, генерал Пралинский мечтает о том, чтобы его поступок послужил темой для анекдота из жизни саповного лица: «Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж (а я всем этим к тому времени буду) удостоил их. . . и т. д.» (5, 14). Но рядом с этим традиционным словоупотреблением мелькает в рассказе иное. «Этот скверный анекдот случился именно в то самое время. . .», — начинается рассказ (5, 5). «Скверный анекдот», — говорит генерал Шипуленко по поводу исчезновения кареты Пралинского (5, 10). Гуманность героя подвергается первому испытанию сразу же после спора. «— Подлец народ! — с бешенством закричал господин Пралинский. — Просился у меня, каналья, на свадьбу, тут же на Петербургской, какая-то кума замуж идет, черт ее дери. Я настрого запретил ему отлучаться. И вот, бьюсь об заклад, что он туда уехал!» (там же). Генерал Шипуленко тут же пользуется случаем подвести итог происшедшему спору о гуманности: «— А вы лучше посетите его хорошенько раза два в части, вот он и будет исполнять приказанья, — советует он (там же). Но гуманность генерала Пралинского оказывается «на высоте». Там, где он вопиет над своими поступками, он не отступает от выбранной роли. «— Нет, прешь, сам секи, а я сечь не буду; я Трифона словом дойму, цопреком дойму, вот он и будет чувствовать» (5, 11).

Но «не выдержим» относится не только к поступкам, над которыми герой вопиет, но и к таким, которые совершаются как бы помимо его сознательного намерения, сами собою, подчиняясь особой логике. Эту «логику» в рассказе возможно обнаружить. Она воплощена во второй, параллельной главной, линии сюжета. Эта затененная сюжетная линия служит как бы фоном для происходящих событий. Она не прочерчивается ясно и непрерывно, но складывается из отдельных штрихов и намеков, рисующих тем не менее вполне законченную картину. «Этого никто не поймет», — рассуждает генерал Пралинский о предстоящем ему подвиге. — «Степан Никифорович умрет — не поймет. Ведь сказал же он: не выдержим. Да, но это вы, люди старые, люди паралича и косности, а я выдержу! Я обрану последний день Помпеи в сладчайший день для моего подчиненного, и поступок дикий — в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный» (5, 13). Слово «патриархальный» для обозначения сути либерального порыва героя здесь достаточно многозначительно. Далее настойчиво начинает повторяться одна и та же тема — тема

молодой и отношения к ней Пралинского, отношения, на которое должна налечь печать этой самой патриархальности или, иными словами, либерального гуманизма. «Ну знакомлюсь, разумеется, с молодой, хвалю ее. . .» (5, 14). «Пощучу еще раз с молодой; гм. . . даже вот что: намекну, что придю опять ролюшенько через девять месяцев в качестве кума, хе-хе! . . . Ну и все захочут, молодая покраснеет; и с чувством поцелую ее в лоб, даже благословлю ее. . .» (там же). Вслед за размышлениями, в которых фигурирует молодая, в воображении героя вновь возникают лица генералов Никифорова и Шипуленко, и слово «не выдержим» начинает все более и более отчетливо припимать смысл «не устоим»: «Как нарочно, вдруг, в это самое мгновение в настроенном воображении его парисовались самодовольные лица Степана Никифоровича и Семена Ивановича.

— Не выдержим! — повторил Степан Никифорович, свысока улыбаясь.

— Хи-хи-хи! — вторил ему Семен Иванович своей самой прескверной улыбкой» (5, 15).

Далее появляется реальная, а не воображаемая молодая в сцене знакомства и последующих сценах.

«— Очень, очень рад познакомиться, — произнес он с самым великосветским полупоклоном, — и тем более в такой день. . .»

Он прековарно улыбнулся. Дамы приятно заволновались» (5, 19).

«— Да она у тебя прехорошенькая, — продолжал он вполголоса, как будто обращаясь к одному Пселдонимову, но нарочно так, чтоб и молодая слышала» (5, 20).

«Впрочем, в сущности, она в своем праве», — досадует герой, что молодая, даже не взглянув на него «упорхнула» с офицером, чтоб занять место в рядах кадрили (5, 24).

Между тем начальник канцелярии генерала Пралинского Аким Петрович очень хотел бы узнать причину появления генерала на свадьбе. Он никак не может поверить тому объяснению, которое представил Иван Ильич. Слова же о «нравственной цели» прихода повергают его в смущение, так что и сам Пралинский начинает сомневаться в себе. «— По я надеюсь, вы поймете, зачем я здесь. . . Я здесь. . . чтобы, как сказать, ободрить. . . показать, так сказать, нравственную, так сказать, цель, — продолжал Иван Ильич, досадуя на тупость Акима Петровича, но вдруг и сам замолчал. Он увидел, что бедный Аким Петрович даже глаза опустил, точно в чем-то виноватый. Генерал в некотором замешательстве поспешил еще раз отхлебнуть из бокала. . .» (5, 25). Между тем «Аким Петрович умирал от любопытства узнать что-нибудь подробнее о настоящих намерениях его превосходительства. . .» (5, 26). «Да чего мне-то надо. . . я-то чего здесь, чего я-то не уйду, чего добиваюсь? . . .» — недоумевает в отчаянии наконец и сам генерал (5, 29). Рисую затем новые планы обращения последнего дня Помпеи в свой триумф, Пралинский не забывает молодую: «Новобрачную и поцелую в лоб; она ми-

ленькая» (5, 31). Когда же гибнет и эта последняя надежда, из уст сотрудника «Головешки» он слышит недвусмысленное обвинение себе: «... я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы до молодежьих жен своих подчиненных!» (5, 34). После такого обвинения генерал Пралинский, забыв о желанном триумфе, который стал теперь недостижим, судорожно пытается защитить себя от позора этого обвинения: оправдывается, забыв о «нравственных целях» прихода, как будто бы сам уверился сейчас, что пришел ради новобрачной: «Нет, нет! — кричал генерал, — я уничтожен... я пришел... я хотел так сказать, крестить. И вот за все, за все!» (там же). И, пытаясь пагонец бежать, генерал падает, «потеряв всякое сознание» (5, 35).

Но и в состоянии сильнейшего опьянения и беспамятства невольно он продолжает играть анекдотическую роль, о которой не думал и на которую сознательно не претендовал. Обстоятельства складываются так, что после падения и беспамятства генерала Пралинского Пселдонимову «осталось одно: перенести его на брачное ложе» (5, 39). Бытовые и психологические мотивировки случившегося вполне естественны (генерала невозможно везти домой, так он разболелся; но и на стульях ему постелить нельзя). Однако в их «подстроенности» обнаруживается намерение автора. Пралинский не только отнимает у молодых их брачное ложе, но и оскверняет его: «... с Иваном Ильичом сделалось ужасное расстройство желудка» (5, 40). «... когда он огляделся и увидел, наконец, до какого грустного и безобразного состояния довел он мирное брачное ложе своего подчиненного, — о, тогда такой смертельный стыд, такие мучения сошли вдруг в его сердце, что он вскрикнул, закрыл лицо руками и в отчаянии бросился на подушку» (5, 42). В полубреду он силится и не может понять, где он находится и что с ним происходит. В особенности не дает ему покоя «золотое кольцо», висевшее над его головою, «в которое продеты были запавески» (там же). Герой как будто бы не понимает, но чувствует, что выступает в какой-то странной и позорной роли. Осквернение брачного ложа генералом Пралинским сопровождается мучительной сценой падения новобрачных со стульев, на которых разместили молодых. Иван Ильич отнимает у них не только их брачное ложе, но и первую брачную ночь: «Не прошло десяти минут, после того как молодых заперли одних в зале, как вдруг послышался раздирающий крик, не отрадный крик, а самого злокачественного свойства. Вслед за криками послышался шум, треск, как будто падение стульев, и вмиг в комнату, еще темную, неожиданно ворвалась целая толпа ахающих и испуганных женщин во всевозможных дезабиле» (5, 40). И далее в усиленных трагикомических тонах рисуется горе супруга, ожидания которого были обмануты самым неожиданным образом по вине его начальника. «Нравственно убитый Пселдонимов стоял как преступник, уличенный в злодействе. Он даже не пробовал оправдываться» (там же). «... мамулька новобрачной на этот раз одержала полный верх. Она сначала осыпала Пселдонимова странными и по большей части несправедливыми упреками на тему: „Какой ты, батюшка, муж после этого? Куда ты,

батюшка, годен, после такого сраму?“ — и прочее и, наконец, взяв дочку за руку, увела ее от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность назавтра перед грозным отцом, требующим отчета» (там же). «Развалина брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о брешности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний» (5, 41). Заметим, что слово «странный» у Достоевского (в данном случае это страшные упреки) часто указывает на иной, более или менее замаскированный смысл. Для самого автора все эти «странности» бываюи заданными и преследующими вполне определенную цель. В довершение всего, когда утром Иван Ильич пытался улизнуть незаметно, он был застигнут матерью Пселдонимова, которая заставляет его прежде умыться. Но и здесь генерал невольно продолжает исполнять роль, начатую накануне, заменяя новобрачного, отменяя его, пользуясь его правами. «Он умылся. И долго потом в тяжелые минуты его жизни припоминалась ему, в числе прочих угрызений совести, и вся обстановка этого пробуждения, и этот глиняный таз с фаянсовым ручкой, наполненным холодной водой, в которой еще плавали льдинки, и мыло, в розовой бумажке, овальной формы, с какими-то вытравленными на нем буквами, кошечек в пятнадацать ценою, очевидно, купленное для новобрачных, но которое пришлось почать Ивану Ильичу...» (5, 42—43).

Генерал Пралинский выглядит не только осквернителем брачного ложа, но и феодалом, пользующимся правом первой ночи. Желание предстать на свадьбе патриархальным правителем и отцом малых сих в старом, крепостническом смысле сыграло с Иваном Ильичом злую шутку. Все случившееся происходит как бы само собой в силу того, что роль осквернителя брачного ложа, сеньора, присвоившего право первой ночи, достается генералу как историческое наследие веков крепостнического прошлого, непобедимое новомодными либеральными веяниями. Типологически литературный сюжет оказывается сродни фольклорно-анекдотическому. Но и сам литературный герой в одном отношении напоминает сказочно-анекдотический образ дурака. Находясь в плену доисторических воззрений, представлений и навыков, дурак не в состоянии осознать, чем живут окружающие его люди, постоянно попадает впросак, вызывает злорадный смех. С другой стороны, он не в силах отрешиться от своего доисторического наследия, переступить его границы, освободиться из его плена. Внешне дурак выглядит неразумным, не владеющим собой, эксцентричным. Интересно в этой связи взглянуть на образ из рассказа Достоевского. Мотивируя поведение своего героя, писатель подчеркивает, что Иван Ильич не совсем ясно отдает себе отчет в своих мыслях, поступках, не может соотнести их с обстоятельствами, в которые попадает, принимая решения полубессознательно. С одной стороны, виной легкое, а потом все усиливающееся опьянение. С другой — «вся беда в том, что минута была эксцентрическая» (5, 15), Иван Ильич находился «несколько в эксцентрическом состоянии» (там же), «он терпелся, он чувствовал, что ему целовко, ужасно целовко, что почва ускользает из-под его ног, что он куда-то зашел и не может выйти, точно в котемках» (5, 20).

Так под влиянием народных образов подвергается у Достоевского жанровому обновлению само понятие анекдота, позволяющее расширить рамки былого рассказа о достойном внимании историческом происшествии до злободневной повести, заключающей благодаря глубокому историческому подтексту широкое социально-историческое обобщение. Когда к открытиям народно-поэтического искусства сознательно или безотчетно обращается талантливый писатель, он вскрывает такие заложенные в них, но нереализованные возможности, которые приводят к своеобразным открытиям в области собственно литературного творчества. «Скверный анекдот» Достоевского по своей поэтике соотносим с народной сказочно-анекдотической традицией и в то же время являет собою художественный акт претворения образа русского либерала пореформенной эпохи, каким он рисуется сознанию современников, в литературный тип, ставший одним из исторических и художественных символов времени.

В своей критике либерализма Достоевский не останавливается на полпути. Его диагноз повсюдной эпидемии либеральной гуманности оказывается не только беспощадным в нравственном отношении, но и вполне конкретным в социальном плане. Либерализм представляется цветком, привитым к старому крепостническому бюрократическому стеблю.

К той же теме Достоевский обращается много лет спустя в «Дневнике писателя» (январь 1881 г.). Обстановка, в которой Достоевский работал над этим последним выпуском «Дневника», несколько напоминала эпоху реформ 1860-х гг. Правительство Лорис-Меликова, встав на путь либеральных посулов, обещаний и проектов, пробудило немалые надежды в среде русской либеральной интеллигенции и русской либеральной журналистики. Сходные времена отражаются в писательском творчестве в сходных образах. Так на страницах «Дневника» появляется вымышленная фигура остроумного петербургского чиновника-бюрократа, рассуждающего о прямом вреде проектов сокращения бюрократического аппарата (27, 26—34). Это публицистический двойник генерала Никифорова. Сомневаясь в возможности укоренения и действительности общественных институтов либерального самоуправления, он вспоминает, как после крестьянской реформы все эти повешества вскоре сами собою стали отпадать в формы старых бюрократических учреждений: «Вот после крестьянской реформы действительно потянуло было чем-то новым: явилось самоуправление, ну там земство и прочее... Оказалось теперь ясно, что и всё это новое тотчас же начало само собою принимать наш же облик, нашу же душу и тело, в нас перевоплощаться. И произошло отнюдь не нашим давлением (это ошибочная мысль), — а именно само собою, ибо от вековых привычек отучаться трудно, а если хотите, то и не надо, особенно в таком основном и великом национальном деле». (27, 29). Мысль, положенная в основу «Скверного анекдота», как бы разъясняется здесь однозначным языком публицистики. Характерно, что, развивая эту мысль, безымянный бюрократ прибегает к фольклорным образам известной поговорки: «Но ведь у нас все эти самоуправления и земства, — ведь это всё

еще журавль в небе, журавль до сих пор прекрасный и в небе летающий, но на землю еще не слетавший», — говорит он (там же). «Вы вот нас все сплошь, — продолжает чиновник, — обвиняете за журавля: зачем же он до сих пор не слетел, что в этом-де мы виноваты, что это будто мы стараемся преобразить прекрасного журавля в наш образ и дух. Это, конечно, очень бы хорошо было с нашей стороны, если бы действительно тут только наша вина была, ибо мы доказали бы тем, что стоим за вековой, основной и благороднейший принцип и бесполезный нуль обращаем в полезное нечто. Но поверьте, что мы тут вовсе не виноваты, то есть слишком мало, и что прекрасный журавль сам в перешиности, сам не знает, чем ему стать окончательно, то есть нами ли или вправду чем-то самостоятельным, сам колеблется, сам не верит себе, даже почти потерялся» (27, 29—30). Снова в параллель к «Скверному анекдоту» возникает тема спора: «А я так пари готов держать в чем угодно: попробуйте, развяжите крылья вашей прекрасной птичке вполне, разрешите ей все возможности, предпринимайте, например, ваще-му земству даже формально за помером и со строгостью: „Отседе-де быть тебе самостоятельным, а не бюрократическим журавлем“, и поверьте, что все они там, все какие есть журавли, сами собою, еще пуще запросятся к нам и кончат тем, что станут чиновниками уже вполне, дух наш и образ примут, всё у нас скопируют» (27, 30). Наконец, в подготовительных набросках к «Дневнику» вновь появляется и слово «устойте», столь многозначительно подразумеваемое в «Скверном анекдоте». Оно относится теперь к позиции либерала по отношению к подлинному, а не мнимому пародоправству, если бы оно на самом деле осуществилось, но не на либеральный манер: «Так устоит ли европеизм в настоящем-то виде, если правильно укоренится земство? Это еще вопрос, и, вероятнее всего, что не устоит» (27, 72). «Не устоит» означает для либерала неизбежное бюрократически-чиновничье перерождение.

Если в публицистике жестокая критика либерализма связана у Достоевского с вопросами социальными, то в «Скверном анекдоте» та же тема повернута в сторону нравственной диагностики, но в обоих случаях она связана с глубоко осознанным и не случайным обращением к традициям фольклорной культуры.